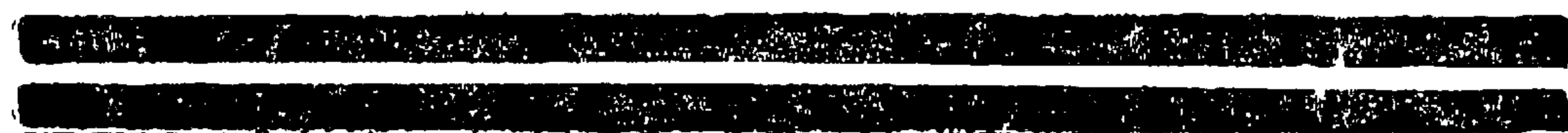


Н О В Ы Й
М И Р

1



1(9) (6) (6)

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 1

Январь, 1966 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАСИЛЬ БЫКОВ — Мертвым не больно, повесть. Авторизованный перевод с белорусского М. Горбачева	3
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Два стихотворения. Перевел с балкарского Н. Гребнев	67
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Захар-калита, рассказ	69
ВЛ. ПОЛЯКОВ — Возвращаются ветры..., Сторожа, стихи	77
АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА — Из прошлого	79
ИЛЬЯ ФОНЯКОВ — Четыре стихотворения	134
А. ПЕРЕДРЕЕВ — Робот, Ветер, стихи	137
ТАКЭСИ КАЙКО — Гиганты и игрушки, повесть. Перевел с японского З. Рахим	139
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР СОРОКИН — За волнами — край света	168
ПУБЛИЦИСТИКА	
В. ПОКШИШЕВСКИЙ — Население мира и будущее	200
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. СУРВИЛЛО — Мысль художника (О повестях Эм. Казакевича)	214
Т. МОТЫЛЕВА — Завещание Ромена Роллана (К столетию со дня рождения)	229
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	241
Л. Левицкий. От сердца к сердцу.— Нат. Ильина. Сказки Брянского леса.— Н. Реформатская. Маяковский и его современники.— Р. Орлова. «В ответе за всех людей...».	
	(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

А. СОЛЖЕНИЦЫН

★

ЗАХАР-КАЛИТА

Рассказ

Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если нескучно, послушайте о Поле Куликовом.

Давно мы на него целились, но как-то всё дороги не ложились. Да ведь туда раскрашенные щиты не зазывают, указателей нет, и на карте найдешь не на каждой, хотя битва эта по четырнадцатому веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по девятнадцатому. Таких битв не на одних нас, а на всю Европу в полтысячи лет выпадала одна. Эта битва была не княжеств, не государственных армий — битва материков.

Может, мы и подбираться вздумали нескладно: от Епифани через Казановку и Монастырщину. Только потому, что дождей перед тем не было, мы проехали в седлах, за рули не тащили, а через Дон, еще не набравший глубины, и через Непрядву переводили свои «вѣлики» по пешеходным двудосочным мосткам.

Задолго, с высоты, мы увидели на другой обширной высоте как будто иглу в небо. Спустились — потеряли ее. Опять стали вытягивать вверх — и опять показалась серая игла, теперь уже явнее, а рядом с ней привиделась нам как будто церковь, но странная, постройки невиданной, какая только в сказке может примерещиться: купола ее были как бы сквозные, прозрачные и в струях жаркого августовского дня колебались и морочили — то ли есть они, то ли нет.

Хорошо догадались мы в лощинке у колодца напиться и фляжки наполнить — это очень нам потом пригодилось. А мужичок, который ведро нам давал, на вопрос: «Где Поле Куликово?» — посмотрел на нас как на глупеньких:

— Да не Кулико́во, а Кули́ково. Подле поля-то деревня Кули́ковка, а Кулико́вка вона, на Дону, в другу сторону.

После этого мужичка мы пошли глухими проселками и до самого памятника несколько километров не встретили уже ни души. Просто это выпало нам так в тот день — ни души, в стороне где-то и помахивала тракторная жатка, и здесь тоже люди были не раз и придут не раз, потому что засеяно было все, сколько глаз охватывал, и доспевало уже — где греча, где свекла, клевер, овес и рожь, и горох (того гороху молодого и мы полушили), — а все же не было никого в тот день, и мы прошли как по священному безмолвному заповеднику. Нам без помех думалось о тех русоволосых ратниках, о девяти из каждого пришедшего десятка, которые вот тут, на сажень под теперешним наносом, легли и дбкости растворились в земле, чтоб только Русь встряхнулась от басурманов.

Весь этот некрутой и широкий взъём на Мамаеву высоту не мог резко изменить очертаний и за шесть веков, разве обезлесел. Вот именно тут где-то, на обозримом отсюда окружье, с вечера 7 сентября и ночью, переходя Дон, располагались кормить коней (да только пеших было больше), дотачивать мечи, крепиться духом, молиться и гадать — едва ли не четверть миллиона русских, больше двухсот тысяч. Тогда народ наш в седьмую ли долю был так люден, как сейчас, и эту силущу вообразить невозможно — двести тысяч!

И из каждых десяти воинов — девять ждали последнего своего утра.

А и через Дон перешли наши тогда не с добра — кто ж по охоте станет на битву так, чтоб обрезать себя сзади рекою? Горька правда истории, но легче высказать ее, чем таить: не только черкесов и генуэзцев привел Мамай, не только литовцы с ним были в союзе, но и князь рязанский Олег. (И Олега тоже понять бы надо: он землю свою проходную не умел иначе сбересть от татар. Жгли его землю перед тем за семь лет, за три года и за два.) Для того и перешли русские через Дон, чтобы Доном оштитить свою спину от своих же, от рязанцев: не ударили бы православные.

Игла маячила впереди, да уже не игла, а статная, ни на что не похожая башня, но не сразу мы могли к ней выбиться: проселки кончались, упирались в посевы, мы обводили велосипеды по межам — и, наконец, из земли, ниоткуда не начинаясь, стала проявляться затравяневшая, заглохшая, заброшенная, а ближе к памятнику уже и совсем явная, уже и с канавами, старая дорога.

Посевы оборвались, на высоте начался подлинный заповедник, кусок глухого пустопорожного поля, только что не в ковыле, а в жестких травах — и лучше нельзя почтить этого древнего места: вдыхай дикий воздух, оглядывайся и видь! — как по восходу солнца сшибаются Телебей с Пересветом, как стяги стоят друг против друга, как монгольская конница спускает стрелы, трясет копьями и с перекаженными лицами бросается топтать русскую пехоту, рвать русское ядро — и гонит нас назад, откуда мы пришли, туда, где молочная туча тумана встала от Непрядвы и Дона.

И мы ложимся, как скошенный хлеб. И гибнем под копытами.

Тут-то, в самой заверти злой сечи, — если кто-то сумел угадать место. — поставлен и памятник, и та церковь с неземными куполами, которые удивили нас издали. Разгадка же вышла проста: со всех пяти куполов соседние жители на свои надобности ободрали жесть, и купола просквозились, вся их нежная форма осталась ненарушенной, но выявлена только проволокой и издали кажется маревом.

А памятник удивляет и вблизи. Пока к нему не подойдешь пощупать — не поймешь, как его сделали. В прошлом веке, уже тому больше ста лет, а придумка — собрать башню из литья — вполне сегодняшняя, только сегодня не из чугуна бы лили. Две площадки, одна на другую, потом двенадцатерик, потом он постепенно скругляется, сперва обложенный, опоясанный чугунными же щитами, мечами, шлемами, чугунными славянскими надписями, потом уходит вверх, как труба в четыре раздвига (а самые раздвижки отлиты как бы из органных тесно-сплоченных труб), потом шапка с насечкой, и надо всем — золоченый крест, подпирающий полумесяц. И все это — метриков на тридцать, все это составлено из фигурных плит, да так еще стянуто изнутри болтами, что ни болтика, ни щелки нигде не проглядывало, будто памятник цельно отлит, — пока время, а больше внуки и правнуки не прохудили там и сям.

Долго идя по пустому полю, мы и сюда пришли как на пустое место,

не чая кого-нибудь тут встретить. Шли и размышляли: почему так? Не отсюда ли повелась судьба России? Не здесь ли совершен поворот ее истории? Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги?.. А вот никому не нужно, никому невдомек.

И как же мы были рады ошибиться! Сперва невдали от памятника мы увидели седенького старичка с двумя парнишками. Они лежали на траве, бросив рюкзак, и что-то писали в большой книге, размером с классный журнал. Мы подошли, узнали, что это — учитель литературы, ребят он подхватил где-то недалеко, книга же была совсем не из школы, а ни мало, ни много как Книга Отзывов. Но ведь здесь музея нет, у кого ж хранится она в диком поле?

И тут-то легла на нас от солнца дородная тень. Мы обернулись. Это был Смотритель Куликова Поля! — тот муж, которому и довелось хранить нашу славу.

Ах, мы не успели выдвинуть объектив! Да и против солнца нельзя. Да и Смотритель не дался бы под аппарат (он цену себе знал и во весь день потом ни разу не дался). Но описывать его — самого ли сразу? Или сперва его мешок? (В руках у него был простой крестьянский мешок, до половины наложенный и не очень, видно, тяжелый, потому что он, не утомляясь, его держал.)

Смотритель был ражий мужик, похожий отчасти и на разбойника. Руки и ноги у него здоровы удались, а еще рубаха была привольно растегнута, кепка насажена косовато, из-под нее выбивалась рыжизна, брился он не на этой неделе, на той, но через всю щеку продралась красноватая свежая царапина.

— А! — неодобрительно поздоровался он, так над нами и нависая. — Приехали? На чем?

Он как бы недоумевал, будто забор шел кругом, а мы дырку нашли и проскочили. Мы кивнули ему на велосипеды, составленные в кустах. Хоть он держал мешок, как перед посадкой на поезд, а вид был такой, что и паспорта сейчас потребует. Лицо у него было худое, клином вниз, а решимости не занимать.

— Предупреждаю! Посадку не мять! Велосипедами.

И тем сразу было нам уставлено, что здесь, на Поле Куликовом, не губы распустья ходят.

На Смотрителе был расстегнутый пиджак — долгополый и охватистый, как бушлат, кой-где и подштопанный, а цвета того самого из присказки — серо-буро-малинового. В пиджачном отвороте сияла звезда — мы подумали сперва, орденская, нет — звезда октябренька с Лениным в кружке. Под пиджаком же носил он навывпуск длинную, синюю, в белую полосу ситцевую рубаху, какую только в деревне могли ему сшить; зато перепоясана была рубаха армейским ремнем с пятиконечной звездой. Брюки офицерские диагональные третьего срока заправлены были в кирзовые сапоги, уже протертые на сгибах голенищ.

— Ну? — спросил он учителя, много мягче. — Пишете?

— Сейчас, Захар Дмитрич, — повеличал его тот, — кончаем.

— А вы, — (строго опять), — тоже будете писать?

— Мы — попозже. — И чтоб как-нибудь от его напора отбиться, перехватили: — А когда этот памятник поставлен — вы-то знаете?

— А как же! — обиженно откинулся он и даже захрипел, закашлялся от обиды. — А зачем же я здесь?!

И опустив осторожно мешок (в нем звякнули как бы не бутылки), Смотритель вытащил нам из кармана грамотку, развернул ее — тетрадный лист, где печатными буквами, не помещаясь по строкам, было написано посвящение Дмитрию Донскому и год поставлен — 1848.

— Это что ж такое?

— А вот, товарищи,— вздохнул Захар Дмитрич, прямодушно открывая, что и он не так силен, как выдал себя вначале,— вот и поймайте. Это уж я сам с плиты списал, потому что каждый требует: когда поставлен? И место, хотите покажу, где плита была.

— Куда ж она делась?

— А черт один из нашей деревни упер — и ничего с ним не сделаем.

— И знаете — кто?

— Ясно, знаю. Да долю-то буковок я у него отбил, управился, а остальные до сих у него. Мне б хоть буковки все, я б тут их приставил.

— Да зачем же он плиту украл?

— По хозяйству.

— И что ж, отобрать нельзя?

— Ха-га! — подбросил голову Захар на наш дурацкий вопрос.— Вот именно что! Власти не имею! Ружья — и то мне не дают. А тут — с автоматом надо.

Глядя на его расцарапанную щеку, мы про себя подумали: и хорошо, что ему ружья не дают.

Тут учитель кончил писать и отдал Книгу Отзывов. Думали мы — Захар Дмитриевич под мышку ее возьмет или в мешок сунет,— нет, не угадали. Он отвел полу своего западного пиджака, и там, с исподу, у него оказался пришит из мешочной же ткани карман не карман, торба не торба, а верней всего калита, размером как раз с Книгу Отзывов, так что она входила туда плотненько. И еще при той же калите было стремечко для тупого чернильного карандаша, который он тоже давал посетителям.

Убедясь, что мы прониклись, Захар-калита взял свой мешок (да, таки стекольце в нем позванивало) и, загребая долгими ногами, сутулясь, пошел в сторонку, под кусты. То разбойное оживление, с которым он нас одернул поначалу, в нем прошло. Он сел, ссутулился еще горше, закурил — и курил с такой неутоленной кручиной, с такой потерянностью, как будто все легшие на этом поле легли только вчера и были ему братья, свояки и сыновья и он не знал теперь, как жить дальше.

Мы решили пробыть тут день до конца и ночь: посмотреть, какова она, куликовская ночь, опетая Блоком. Мы, не торопясь, то шли к памятнику, то осматривали опустошенную церковь, то бродили по полю, стараясь вообразить, кто где стоял 8 сентября, то взлезали на чугунные плоскости памятника.

О, здесь были до нас, здесь были! Не упрекнуть, что памятник забыт. Не ленились идола зубилом выбивать по чугуну и гвоздями процарапывать, а кто послабей — углем писать на церковных стенах: «Здесь был супруг Полунеевой Марии и Лазарев Николай с 8-V-50 по 24-V». «Здесь были делегаты районного совещания...» «Здесь были работники Кимовской РКСвязи 23-VI-52...» «Здесь были...» «Здесь были...»

Тут подъехали на мотоцикле трое рабочих парней из Новомосковска. Они легко вскочили на плоскости, стали разглядывать и ласково обхлопывать нагретое серо-черное тело памятника, удивлялись, как он здорово собран, и объясняли нам. За то и мы им с верхней площадки показали, что знали, о битве.

А кому теперь уж так точно это знать — где было и как? По летописным рассказам, монголо-татары на конях врубались в пешие наши полки, редили и гнали нас к донским переправам — и уже не защитой от Олега обернулся Дон, а грозил гибелью. Быть бы Дмитрию и тогда Донским, да с другого конца. Но верно он все расчел и сам держался, как не всякий сумел бы великий князь. Под знаменем своим он оставил

боярина в убранстве, а сам бился как ратник, и видели люди: рубился он с четырьмя татарами сразу. Однако и великокняжеский стяг изрубили, и Дмитрий с промятым панцирем еле дополз до леса, — нас топтали и гнали. Вот тут-то из лесной засады в спину зарьявшимся татарам ударил со своим войском другой Дмитрий, Волынский-Боброк, московский воевода. И погнал он татар туда, как они и скакали, наступая, только заворачивал крутенько и сшибал в Непрядву. С того-то часа воспрянули русские: повернули стенкою на татар, и с земли поднимались и всю ставку с ханами, и Мамаю самого гнали сорок верст через реку Птань и аж до Красивой Мечи. (Но и тут легенда перебивает легенду, и из соседней деревни Ивановки старик рассказывает все по-своему: что туман, мол, никак не расходился, и в тумане принял Мамай обширный дубняк обок себя за русское войско, испугался: «Ай, силен крестьянский бог!» — и так-то побежал.)

А поле боя потом русские разбирали и хоронили трупы — восемь дней.

— Одного все ж не подобрали, так и оставили, — упрекнул веселый слесарь из Новомосковска.

Мы обернулись, и — нельзя было не расхохотаться. Да! — один поверженный богатырь лежал и по сей день невдалеке от памятника. Он лежал ничком на матушке — родной земле, уронив на нее удалую голову, руки-ноги молодецкие разбросав косыми саженьями, и уж не было при нем ни щита, ни меча, вместо шлема — кепка затасканная, да близ руки — мешок. (Все ж приметно было, что ту полу с калитой, где береглась у него Книга Отзывов, он не мял под животом, а выпростал рядом на траву.) И если только не попьану он так лежал, а спал или думал, была в его распластанной разбросанности — скорбь. Очень это подходило к полю. Так бы фигуру чугунную тут и отлить, положить.

Только Захар, при всем его росте, для богатыря был жидковат.

— В колхозе работать не хочет, вот должностишку и нашел, загорать, — буркнул другой из ребят.

А нам больше всего не нравилось, как Захар на скакивал на новых посетителей, особенно от кого по виду ожидал подвоха. За день приезжали тут еще некоторые, — он на шум их мотора подымался, отряхивался и сразу наседавал на них грозно, будто за памятник отвечал не он, а они. Еще прежде их и пуще их Захар возмущался запустением, так яро возмущался, что нам уж и верить было нельзя, где это в груди у него сидит.

— А как вы думали?! — напускался он на четверых из «запорожца», размахивая руками. — Вот я подожду-подожду, да перешагну через районный отдел культуры! — (Ноги его вполне ему это позволяли.) — Отпуск возьму да поеду в Москву, к самой Фурцевой! Все расскажу!

Но как только замечал, что посетители сробели и против него не выстаивают, — брал свой мешок (важно брал, как начальник берет портфель) и шел в сторону прикорнуть, покурить.

Перебраживая туда и сюда, мы за день встречали Захара не раз. Заметили, что при ходьбе он на одну ногу улегал, спросили — отчего. Он ответил гордо:

— Память фронта!

И опять же мы не поверили: наловчился, хлюст.

Фляжки мы свои высосали и подступили к Захару — где б водицы достать. Води-ицы? В том и суть, объяснил, что колодца нет, на рытье денег не дают, и на всем знаменитом поле воду можно пить только из луж. А колодец — в деревне.

Уж как к своим, он к нам навстречу с земли больше не подымался.

Что-то мы ругнулись насчет надписей — прорубленных, процарапанных, — Захар отразил:

— А посмотрите — года какие? Найдите хоть один год свежий — тогда меня волоките. Это все до меня казаковали, а при мне — по-пробуй! Ну, может, в церкви гад какой затаился, написал, так ноги у меня — одни!

Церковь во имя Сергия Радонежского, сплотившего русские рати на битву, а вскоре потом побратавшего Дмитрия Донского с Олегом Рязанским, построена как добрая крепость, это — тесно сдвинутые глыбные тела: усеченная пирамида самой церкви, переходное здание с вышкой и две круглых крепостных башни. Немногие окна — как бойницы.

Внутри же не только все ободрано, но нет и пола, ходишь по песку. Спросили мы у Захара.

— Ха-га-а! Хватились! — позлорадствовал он на нас. — Это еще в войну наши куликовские все плиты с полов повыламывали, себе дворы умостили, чтоб ходить не грязно. Да у меня записано, у кого сколько плит... Ну да фронт проходил, тут люди не терялись. Еще поперед наших все иконостасовые доски пустили землянки обкладывать да в печки.

Час от часу с нами обвыкая, Захар уже не стеснялся лазить при нас в свой мешок, то кладя что, то доставая, и так мы мало-помалу смекнули, что ж он в том мешке носит. Он носил там подобранные в кустах после завтрака посетителей бутылки (двенадцать копеек) и стеклянные банки (пятак). Еще носил там бутылку с водой, потому что иного водопоя и ему целый день не было. Две буханки ржаных носил, от них временами уламывал и всухомятку жевал:

— Весь день народ валит, сходить пообедать в деревню некогда.

А может быть, в иные дни бывала там у него и заветная четвертинка или коробка рыбных консервов, из-за чего и тягал он мешок, опасаясь оставить. В тот день, когда уже солнце склонялось, приехал к нему на мотоцикле приятель, они в кустах часа полтора просидели, приятель уехал, а Захар пришел уже без мешка, говорил громче, руками размахивал пошире и, заметив, что я что-то записываю, предостерег:

— А попечение — есть! Есть! В пятьдесят седьмом постановили тут конструкцию делать. Вон тумбы, видите, врыты округ памятника? Это с того года. В Туле их отливали. Еще должны были с тумбы на тумбу цепи навешивать, но не привезли цепей. И вот — меня учредили, содержат! Да без меня б тут все прахом!

— Сколько ж платят вам, Захар Дмитрич?

Он вздохнул кузнечным мехом и не стал даже говорить. Пообмялся, тогда сказал тихо:

— Двадцать семь рублѐв.

— Как же может быть? Ведь минимальная — тридцать.

— Вот — может... А я без выходных. А с утра до вечера без перерыва. А ночью — опять тут.

Ах, завирал Захар!

— Ночью-то — зачем?

— А как же? — оскорбился он. — Да разве на ночь тут можно покинуть? Да самое ночью-то и смотреть. Машина какая придет — номер ее записать.

— Да зачем же номер?

— Так ружья мне не вручают! Мол, посетителей застрелишь. Вся власть — номер записать. А если набедит?

— И кому ж потом номер?

— Да никому, так и остается... Теперь дом для приезжих построили, видали? И его охранять.

Домик этот мы видели, конечно. Одноэтажный, из нескольких комнат, он был близок к окончанию, но на замке. Стекла были уже и вставлены, и кой-где опять разбиты, полы уже настланы, штукатурка не кончена.

— А вы нас туда ночевать пустите? — (К закату потягивало холодком, ночь обещала быть строгой.)

— В дом приезжих? Никак.

— Так для кого ж он?

— Никак! И ключи не у меня. И не просите. Вот в моем сарайчике можете.

Покатый низенький его сарайчик был на полдюжины овец. Нагибаясь, мы туда заглянули. Постлано там было убитым вытертым сенцом, на полу котелок с чем-то недохлебанным, еще несколько пустых бутылок и совсем засохший кусок хлеба. Велосипеды наши, однако, там уставлялись, могли и мы лечь, и хозяину дать вытянуться.

Но он-то на ночь оставаться был не дурак:

— Ужинать пойду. К себе в Куликовку. Горяченького перехватить.

А вы на крючок запирайтесь.

— Так вы стучите, когда придете! — посмеялись мы.

— Ладно.

Захар-калита отвернул другую полу своего чудомудрого пиджака, не ту, где Книга Отзывов, и на ней оказалось тоже две пришитых петли. Из мешка-самобранки он достал топор с укороченным топориком и туго вставил его в петли.

— Вот,— сказал он мрачно.— Вот и все, что есть. Больше не велят.

Он высказал это с такой истой обреченностью, как будто ожидалось, что орда басурманов с ночи на ночь прискачет валить памятник, и встретить ее доставалось ему одному, вот с этим одним топориком. Он так это высказал, что мы даже дрогнули в сумерках: может, он не шалопут вовсе? Может, вправду верит, что без его ночной охраны погибло Поле?

Но, ослабевший от выпивки и дня шумоты и беготни, ссутуленный и чуть прихрамывая, Захар надал в свою деревню, и мы еще раз посмеялись над ним.

Как мы и хотели, мы остались на Куликовом Поле одни. Стала ночь с полною луной. Башня памятника и церковь-крепость выставились черными заслонами против нее. Слабые дальние огоньки Куликовки и Ивановки заслеплялись луною. Не пролетел ни один самолет. Не проурчал ни один автомобильный мотор. Никакой отдаленный поезд не простучал ниоткуда. При луне уже не видны были границы близких посевов. Эта земля, трава, эта луна и глушь были все те самые, что и в 1380 году. В заповеднике остановились века, и, бредя по ночному Полю, все можно было вызвать: и костры, и конские темные табуны, и услышать блоковских лебедей в стороне Непрядвы.

И хотелось Куликовскую битву понимать в ее цельности и необратимости, отмахнуться от скрипучих оговорок летописцев: что все это было не так сразу, не так просто, что история возвращалась петлями, возвращалась и душила. Что после дорогой победы оскудела воинством русская земля. Что Мамай тотчас же сменил Тохтамыш и уже через два года после Куликова попер на Москву, Дмитрий Донской бежал в Кострому, а Тохтамыш опять разорил и Рязань и Москву, обманом взял Кремль, грабил, жег, головы рубил и тянул веревками пленных снова в Орду.

Проходят столетия — извивы Истории сглаживаются для дальнего взгляда, и она выглядит как натянутая лента топографов.

Ночь глубоко холодела, и как мы закрылись в сарайчике, так проспали крепко. Уезжать же решено у нас было пораньше. Чуть засвело — мы выкатили велосипеды и, стуча зубами, стали навьючивать их.

Обелил травы иней, а от Куликовки, из низинки, по польцу, уставленному копнами, тянул веретенами туманец.

Но едва мы отделились от стенок сарайчика, чтобы сесть и ехать, — от одной из копен громко, сердито залаяла и побежала на нас волосатомордая сивая собака. Она побежала, а за нею развалилась и копна: разбуженный лаем, оттуда встал кто-то длинный, окликнул собаку и стал отряхаться от соломы. И уже довольно было светло, чтоб мы узнали нашего Захара-калиту, одетого еще в какое-то пальтишко с короткими рукавами.

Он ночевал в копне, в этом пронимающем холоде! Зачем? Какое беспокойство или какая привязанность могла его принудить?

Сразу отпало все то насмешливое и снисходительное, что мы думали о нем вчера. В это заморозное утро встающий из копны, он был уже не Смотритель, как бы Дух этого Поля, какой-то стерегущий фавн, не покидавший его никогда.

Он шел к нам, еще отряхиваясь и руки потирая, и из-под надвинутой кепочки показался нам старым добрым другом.

— Да почему ж вы не постучали, Захар Дмитрич?

— Тревожить не хотел, — поводит он озябшими плечами и зевал. Весь он еще был в соломенной перхоти. Он расстегнулся потрястись — и на месте увидели мы и Книгу Отзывов, и единственно дозволенный топорик.

Да сивый пес еще рядом скалил зубы.

Мы попрощались тепло и уже крутили педалями, а он стоял, подняв долгую руку, и кричал нам в успокоение:

— Не-е-ет! Не-е-ет, я этого так не оставлю! Я до Фурцевой дойду! До Фурцевой!

Это было два года назад. Может быть, сейчас там опрятней и заботней. Да ведь не фельетон писан к сроку, а вспомнилось мне это наше вечное Поле, а на нем его Смотритель и рыжий дух.

К слову же помянулось, что местом этим не разумно было бы нам, русским, небречь.

1965.

